

Борис Зайцев

ВАЛААМ

Приезд на Валаам

Пароходик с туристами и паломниками недолго стоял у пристани Сердоболя. Свистнул и отвалил, двинулся ежедневным путем среди мелких заливов Ладоги. Берега холмисты и красивы, дики. Леса да скалы, слои гранита и луды, выпирающие под косым углом, заросшие мхами. «Сергий» лавировал между этими берегами, придерживаясь вех, опасаясь камней и мелей. И лишь понемногу стал расширяться выход, открылась тусклая синева озера с повисшими как бы на стеклянной подстилке двумя-тремя островами.

А потом и вовсе вышли на волю. Беловатые, крупные, с сине-стальной оторочкою облака хмуры, недвижны. Холодны их отраженья, тяжела вода, свинцовая, тоже с белесыми отсветами. Прохладно! Невеселое предвечерие севера.

Но взору просторно. И есть что представить себе. Налево, за бескрайною далью, к океану, некогда св. Трифон основал обитель у самого моря монастырь св. Трифона Печенгского. Справа, в нескольких десятках верст, остров Коневец. В веке четырнадцатом св. Арсений прибыл туда в лодке, путешествуя с Афона, и привез чудотворную икону, поселился, учредил монастырь. Прямо же перед нами, очень далеко, но уже белея Собором, сам знаменитый Валаам.

Возраст всего этого — сотни лет. Корень — Россия. Поле деятельности огромный край.

...Понемногу все взоры соединились на белой, с синими и зелеными верхами колокольне, на огромном куполе с ней рядом. Над полоскою леса водружен Собор мощным жестом, повелитель-но. Он приближается медленно, остров же растягивается в длину. «Сергий» держит курс на церковку, белую с золотом — скит Никольский на крохотном островке у входа, как бы сторожевой пост Валаама. Ночью отсюда светит маяк. А сейчас, пройдя мимо, медленно мы поднимаемся узким, зеркальным заливом, среди чудесных лесов, к пристани главного острова. Проплываем вдоль монастырского сада. Сверху, из-за чугунной решетки, над белыми корпусами келий все та же громада Собора с золотыми крестами. Вечерний благовест.

С группой дам, туристов, молодежи подымаемся в гору. Монах на телеге везет вещи. Смеркается. Густа зелень, в ней белеют врата монастырские, и по дорожке, аллеею лип, кленов, орехов, оказываемся у огромной, тоже белеющей в полусумраке гостиницы. Июль, а еще жасмин не отцвел. Жасмин сладостно одуряет, есть в этом запахе исконно-русское, для меня и афонское, сразу вспомнишь Андреевский скит.

Худой и слегка согбенный, в белом подряснике, с черною бородой и прекрасными ночными глазами о. Лука, иеромонах-гостиник, устраивает нам комнату. Её маленькое оконце выходит прямо в жасмин. Светлые стены, уозть, вид кельи, бедные постели,

издающие всякий раз как переворачиваешься, мелодический звук железных сеток, колец, пружин...

Монастырская жизнь началась.

* * *

Свв. Сергей и Герман. Два инока, две прямые фигуры в темном, Сергей старше, Герман моложе, в опущенных руках свитки, на них письма. Древние, не без суровости облики — основатели монастыря. С первого же беглого осмотра обители видишь их здесь повсюду. В медальоне над входом в гостиницу, над воротами, на иконах, на золотой ковanej раке в нижней церкви Собора. Стараешься представить себе их живыми, в дали четырнадцатого века, что-нибудь узнать о жизни их... — и почти ничего не узнаешь. Остается только ощущение величия и легендарности. Но не случайно явились они в этих краях, диких и бедных, подобно Трифону Печенгскому и Арсению Коневскому.

На первых порах удивляет, как мало древностей сохранилось в самом монастыре. Объясняется это тем, что он много терпел, подвергался грабегам (особенно в XVII в.).

Все-таки, все-таки... Был ведь Собор времен Александра I, его разрушили, и соорудили тепере-шний, огромный и роскошный, но какой холодный! В валаамском строительстве, к сожалению совпавшем с бедною художнически эпохой середины и конца XIX в., есть вообще дух грандиоза.

Нечто от Александра III, нечто связано и с игуменом Дамаскиным, ненасытной и мощной фигурой, которую можно было бы назвать, на афонский лад, Афанасием Великим Валаама. Должно быть, есть нечто в характере самого этого острова, на гранитных глыбах лежащего, над Ладогой воздымающегося, что влекло к силе и размаху. Здесь бьют волны, зимой метели режут, северные ветры валят площади леса. Все громко, сильно, могуче. Лес — так вековой. Скалы — гранит, луда. Монастырь — так на тысячу человек. Игумен Дамаскин чуть не великан, неутоми-мый, неусыпный, несменяемый (сорок лет властвовал над Валаамом и чего-чего только не настроил). Даже колокола валаамские... ведь в главном из них тысяча пудов!

Но немало силы и в самой братии, порождении Руси крестьянской, веками на Валааме сменявшейся, но трудившейся упорно, безмянно. Ведь это маленькое государство. У него и леса, и посевы, покосы, молочная ферма, сады, огороды, водопровод, и каких только нет мастерских. Все это лепится и живет вокруг Собора и белоснежного четырехугольника келий, трапезной, ризницы, библиотеки и пр. Тут дом игумена и управление, хозяйство и политика, и дипломатия, великолепные службы в Соборе, в праздники наполненном карелами окрестностей, паломниками и туристами. В нижней церкви у раки преподобных, в гостинице у о. Луки непрерывный приток и отток приезжих — кого тут только нет!

Внутренняя, духовная и поэтическая сторона Валаама раскрывается понемногу, не сразу. «К Валааму нужно подходить молитвенно, — говорил мне педагог из Таллина. — Направляйтесь к нему духовно».

Не знаю уж, «направлялся» ли я, и разумеется, беглы впечатления паломника, все же

думаю, что за внешним, торжественным фасадом Валаама, открылось в эти несколько дней и другое, — то, что дает славу Валааму внутреннему.

* * *

На другой день приезда нашего игумен, о. Харитон, предложил съездить в скиты на его моторной лодке.

Мы отчалили часу во втором, при нежном свете из-за высоких облачков. Высокий и загорелый, заросший бородою о. Рафаил у мотора, нагнувшись, управляет рычажком. Кроме игумена, с нами педагог Михаил Алексеевич с женою и мальчиком в гимназической фуражке. Да иеромонах Тарасий.

Лодка идет легко. Как стеклянная вода! Какой мир, какой воздух, как прекрасно плыть мимо редких камышей, за которыми вековой бор — сосны, ели столетние. Кое-где береза. И сколько зелени, какие лужайки! Все светлое, очень тихое и нетронутое.

Когда подплываем к мостику, под который надо пройти, о. Рафаил выпрямляется, горбатый его нос глядит вперед, и как тритон в раковину, трубит он победоносно: мы, мол, идем под мостом, место наше.

И мы быстро проносимся в его мгле.

— Хороши эти леса, — говорит о. Харитон медленно, негромко, будто слегка устало.

— Мы ведь их не рубили. Дрова покупали у финнов, только чтобы их не портить.

Да, красота, а не лес. Такого я в Финляндии еще не видел. Игумен молча и задумчиво на него смотрит. Монастырь, со всею сложностью и трудностью управления, забот, скорбей — все позади. А сейчас тишина озер, лесов, ласкового, еще бледного солнца.

Мы едем в скит Всех Святых. У о. игумена там дело, а мотор свой он дает нам для езды дальнейшей.

Вот и берег, лужайка, лес, и неторопливый путь к скиту, и часовня, и могила иеросхимонаха Антипы, в лиственной роще, и ограда скитская... и ничего сурового в этой святой земле. Наоборот, светло, особенная, чуть ли не райская тишина.

Женщинам в скит нельзя. Да и мы сейчас не пойдем. Мы поищем грибов, поклонимся могиле Антипы, полюбуемся солнцем, лесом, перекрестимся на пороге часовни.

— Это все о. Дамаскина труды, — говорит игумен, медленно обходя стену, за ней церковь, здания. — А вот тут поглядите, что буря наделала.

И поднявшись на изволок, показал с грустью на плешину в его любимых лесах.

— Буря была ужасная. Северный ветер, сразу вырвало до четырехсот десятин в разных местах острова.

У ворот показался старый монах в подряснике. Мы простились. О. игумен останется тут до вечера, проведет тихие часы в уединении, а потом мы должны за ним заехать.

— Знаете, — говорит, улыбаясь, Михаил Алексеевич, когда подходим к мотору, — тут

в прошлом году была с нами маленькая история, на этом самом месте. Тоже в лодке приехали, и с нами старушка одна, француженка, лет семидесяти — ее занесло как-то на Валаам, она тоже все по скитам ездила, ужасно нравилось ей. Настолько полюбила тишину эту валаамскую, красоту, весь благообразный склад жизни, так и говорит: «Это рай». (Сама католичка). «Я всю жизнь прожила, и только теперь, над могилой узнала, что на земле есть рай. Как ваши иноки и старцы на острове живут, это и есть рай». Хорошо, рай раем, а ведь и домой в монастырь надо. Назад полагалось идти пешком. Она дошла до этой лужайки, села под деревом, и ни с места. Сил нет, и нога разболелась. Идти никак не может, что тут делать? Попробовали лодку покликать, да место тихое, никого нет. Просто хоть ночуй тут с нею. Так до вечера и просидели, пока монашек случайный, с фермы, на лодке не выручил.

Она долго в монастыре прожила. И когда в Париж уезжала, то представьте, из бересты коробочку себе раздобыла, и туда земли валаамской на память собрала. С тем и уехала, что в раю побывала.

* * *

Теперь у рычажка мальчик Светик. О. Рафаил рядом, поглядывает за ним и показывает, где брать правее, где левей. Останавливаемся у Смоленского скита. Среди чудесного леса маленькая церковь, новая, в духе древнего зодчества. Здесь иеросхимонах о. Ефрем — высокий, жизнерадостный, с улыбающимися глазами. У него сейчас гости: за столиком, под соснами, в простеньких подрясниках два старых монаха пьют чай: о. Павлин, бывший игумен Валаама, на днях постригающийся в схиму, худой, с веерообразными бровями, и другой, о. Иоанн, тоже худенький, из Предтеченского скита. Солнце, сквозь сосны, тепло и мирно берет лучами этих двух стариков. О. Ефрем один живет здесь. Он показывает церковь, крохотную келийку при ней, гроб с поднятой крышкой. На ней изображен скелет, а в гробу подушка и постель.

— Да, вот так и живу, понемножку... — О, Ефрем — духовник братии. Отсюда, на лодочке, ездит в монастырь. У самой воды у него другая избушка, тоже крошечная, и тоже иконы, тоже гроб. Один гроб для лета, другой для зимы, в них по очереди он и спит, но ничего страшного в этом нет, о. Ефрем жизнерадостнее многих, спящих на роскошных кроватях.

Чтобы не мешать его гостям и не отрывать его, мы не задерживаемся. И через несколько минут Светик, серьезный и внимательный, гордый ролью капитана, ведет нас на моторе дальше.

О. Тарасий с Михаилом Алексеевичем совещаются, куда ехать сначала: на Коневский, или к о. Феодору. Решили к Феодору.

Мотор заходит в дальний, тесный угол залива. О. Рафаил сам берется за управление: узеньким каналом, с галькой, песочком, чуть не доставая рукой до прибрежных кустов, выходим с Валаамского острова на Ладугу. Она довольно покойна, голубеет вдаль, к едва видимым мягким холмам, все же мотор покачивает. Мы описываем медленно дугу, и мимо островка со скитом св. Иоанна Предтечи, наиболее строгого на Валааме, идем к другому островку.

Здесь нет никакого скита. Просто живет отшельник, схи-игумен Феодор, в своей избушке.

— Только я умоляю вас, о. Тарасий, — говорит Михаил Алексеевич, разглаживая поблескивающую раздвоенную бороду, — чтобы он самовара не ставил.

О. Тарасий не без лукавства посмеивается небольшими голубыми глазами.

— Да уж не тревожьтесь. Пожалуйте вперед, к прудику. А я предупрежу...

— Я вас знаю, о. Тарасий, придем, а уж самовар пыхтит... Нет, я тогда не пойду, вы должны обещать... Он оборачивается ко мне.

— Представить себе нельзя, до чего монахи здесь гостеприимны. Ведь кто ни придет, старик бежит ставить самовар.

— Ничего-с, ничего-с...

Михаил Алексеевич сопротивляется, но сам мало в сопротивление верит. А пока что, мы идем в горку, а о. Тарасий влево, к деревянному домику.

— О. Феодор давно тут живет. Видите, его хозяйство. Яблони, огород... Все своими руками. Ему за семьдесят. А какая тут почва? Один камень. Так ведь на себе землю таскал, Бог знает откуда, вот и добился.

Мы подошли к прудику, тоже, конечно, собственного производства — он кишит мелкой рыбешкой. Бросишь корочку, все население сразу толпится, шуршит, чмокает, разные жадные типы выскакивают до половины наружу, на лету ловя приношение.

Мы ими полюбовались. И медленно, огородом, пошли к домику о. Феодора.

— Вы не думайте, — шепнул Михаил Алексеевич, — теперь от чая уж нельзя отказаться. Будет обида.

— Ну, здравствуйте, милые, здравствуйте, кого Господь принес? Милости прошу...

О. Феодор высокий, крепкий старик с загорелым лицом, живыми, светлыми глазками, седой бородой. За углом о. Тарасий раздувает самовар.

Благословил нас о. Феодор истово, сразу став торжественным, но по-прежнему ласковым. И высоким, тонким голосом со своеобразным переливом, как бы ярославскою скороговоркою пригласил под деревья к столику. Варенье, сахар, хлеб, чашки.

— Издали? Ну, и слава Богу, вот и навестили старика, милые мои...

Мы для него «мир», неизменно здесь появляющийся, иной раз и утомительный, но все тянущийся к облику более высокой, чистой и духовной жизни. Такой о. Феодор чувствует, что он кому-то нужен, этим неизвестным для него «братьям» — нынче одни, завтра другие, но всегда братья и всегда чего-то хотят позаимствовать.

О. Тарасий подал самовар. О. Феодор так же был приветлив и словоохотлив. Он не поучал, ничего не навязывал. Просто повествовал, как был послушником на Валааме, как работал на пекарне, в кухне, на мельнице, и все со смехом и улыбкою: весело, мол, было жить! А позже попал в Борисоглебск игуменом, и опять назад на Валаам вернулся, и опять все хорошо, нечего Бога гневить.

Из-за чайного этого столика, с высоты усадебки о. Феодора открывается дальний вид:

вниз идут сосны, редковатым строем, и сквозь них Ладога тихим серебром посверкивает, вдаль сизеет и лиловеет. Много ниже нас на одинокий столб села чайка. Мы обратили на нее внимание.

— Как же, как же, постоянно прилетает. Славная. Мы с ней знакомые, можно сказать друзья. Она меня не боится. Сядет, и все курлыкает тут, на своем языке. А только я ейного языка не понимаю. Покурлыкает, перышки себе клювом почистит, и до свиданья, до следующего разу.

* * *

В шестом часу о. Тарасий вынимает из глубокого кармана часы.

— А ведь еще в Воскресенский хотели, да к отцу Николаю на Коневский.

Подымаемся. Михаил Алексеевич с моею женой не без таинственности отводят о. Феодора в сторонку, вполголоса с ним что-то рассуждают.

Высокий, с несколько сейчас смущенною улыбкой, в сером подряснике, с великорусским говорком, более он похож на пчеловода, чем на схи-игумена. Вот где о гробах и помину нет!

— Ну, хорошо, милые, ну, хорошо...

Маленький заговор я знал. В ночь на воскресенье, перед ранней литургией, в Коневском скиту будет он нас исповедывать и причащать.

И когда мы плыли к Воскресенскому скиту, солнце мирно золотило Ладогу. Погода оконча-тельно установилась. Да и в душе, казалось, что-то наладилось. Не то, чтобы новые мысли или премудрость какая осенили. Ничего особенного нам о. Феодор не сказал. Но вот ощущение, что все в порядке (якобы наперекор всему, что в мире делается, даже многим скорбям в самом монастыре, ибо и монастырь не рай) — ощущение прочности и благословенности осталось. Все хорошо — несмотря ни на что. Рыбки радость, яблони, огород, знакомая чайка на столбу — все радость.

Если бы с нами была сейчас та старая француженка, она не изменила бы своего мнения о Валааме.

По скитам

Светик и о. Рафаил подвезли нас к пристани. О. Тарасий помогал выходить. Заросшая соснами возвышенность, вверх вьется тропинка — к Воскресенскому или Иерусалимскому скиту.

О. Тарасий оборачивается.

— А вы теперь, значит... прямым ходом к Гефсимании. Там у креста и будете с мотором ждать.

Мы поднимаемся, не то, чтобы в гору Чистилища, но все-таки не так уж мало. С поворотами тропинки шире раздвигается вид на Никоновский островок, правее его остров о. Феодора, а за ними, все возрастая, дальне-серебристый горизонт самой Ладоги. Вся эта местность называется Никоново, по имени пустычника, здесь обитавшего в XVIII веке.

Но легенда уводит и дальше. На месте храма, куда поднимаемся, с незапамятных времен стояла часовня в честь св. Апостола Андрея. Как бы ни относиться к преданию о посещении Валаама св. Андреем, место все-таки свято, освящено веками отшельнических, высоких и духовных жизней.

— На эту стройку много трудов положено, — говорит о. Тарасий, когда мы приближаемся к кирпичной, красной церкви. — Фундамент прямо в гранит врублен... иной раз и порохом приходилось взрывать.

Верхний храм — Воскресения, нижний св. Андрея, в нем «Кувуклия» с подобием Гроба Господня. В низеньком помещении, в глубине церкви, кубической формы камень, красный гранит, образ того камня, что привален был ко входу в пещеру Гроба. Маленькая эта, темная комната называется Приделом Ангела — Ангел отвалил некогда камень. А в гранит вделана из иерусалимского камня частица.

Таинственно тут, тихо. Нагибаешься вдвое, сквозь совсем низкую дверкуходишь в еще высшее святилище: пещеру св. Гроба, точную копию того иерусалимского, у которого в сороко-вых годах стоял на литургии и причащался Гоголь. Тут совсем уж темно. Только неугасимая лампада над Гробом (на нем Плащаница и в серебряной оправе частица камня иерусалимского. К ней прикладываются входящие).

Мы кончали уже осмотр Кувуклии, когда в храме, под водительством худенького, слегка согбенного, но очень живого иеромонаха о. Памвы, появилась толпа молодежи — православное юношество из Выборга.

— Ну, вот, вот и хорошо, — говорил о. Памва, сияя прекрасными глазами, легкой, суховатой рукою давая благословение, — уж не извольте теперь уходить, видите, я со своими птенцами... И сейчас же во св. Пещере молебен отслужим, и будет славно...

Мы поднялись в верхний храм. Нельзя сказать, чтобы он очень останавливал внимание — светлый, несколько холодноватый, с интересным разве только запрестольным образом XVIII в., работы иеромонаха Амфилохия (Христос Царь Славы, Богоматерь и Иоанн Предтеча, со слегка западным оттенком письма, удивляющим на Валааме).

Пока о. Тарасий объяснял мне противоположность с нижней, полутемной церковью, где Христос поруганный, в Гробу, здесь же Он в торжестве, я обратил внимание на молодого, огненно-рыжего монаха, оживленно разговаривавшего с моей женой. Он улыбался радостно, почти блаженно. По движению губ на простоватом лице было видно, что он слегка косноязычен. Стараясь не обращать на себя его внимания, я приблизился.

— Значит, земляки... Из Москвы! Как же не из Москвы, я сам оттедова. У нас прямо и лавка там была... на Долгоруковской... у папаньки. Бакалейщики мы.

Известно, что такое москвичи, и земляки, да Бог весть чрез сколько лет, после всех бед и революций на Валааме встретившиеся. Монах был в полном восторге, встретив земляков, и от волнения еще более заикался.

— Что ж, вы довольны тут, на Валааме? После Москвы-то?

— Я? Да как же не доволен? Даже очень доволен. Я всем доволен. Слава Богу, хорошо живу.

Тут же и выяснилось, что этот веселый человек в замызганном подряснике находится на нелегких работах, на самой низшей ступени иерархии, один «из малых сих». Но ему все хорошо, его ничем не возьмешь. Такого, конечно, сослали бы на Соловки, посадили бы в концентрационный лагерь, он все бы улыбался да творил Иисусову молитву. Это его дальние братья улыбались на римских аренах львам.

Пока они с женой моей вспоминали, где какая в Москве часовня и какой переулок, снизу прислали сказать, что молебен в Кувуклии начался. Мы поспешили сойти. Придел Ангела был уже полон. Стояли плечо к плечу. О. Памва служил в Пещере. Оттуда, слегка приглушенно, звучал небольшой хор той же молодежи. «Христос воскрес из мертвых». Темно, тесно, жарко... но так тихо, так замерло все и соединилось в сопереживании того, что две тысячи лет назад совершалось в такой же вот тесной Пещере, с таким же камнем отвалившимся, перевернул он весь мир...

Когда служение кончилось, девушки, молодые люди, пожилые дамы, сгибаясь вдвое, вылезали из жаркой Пещеры, а мы поодиночке пролезали туда, прикладывались ко Гробу и подходили под благословение к о. Памве. Лоб у него был влажный, глаза сияли.

— Духота какая, — говорили певчие-барышни. — Временами даже стоять было трудно.

Но у всех взволнованные лица, умиленные. У некоторых слезы. Юноши покрепче. Но и у них настроение повышенное.

Впрочем, молодость берет свое: выйдя на паперть, студенты побежали кто на колокольню, кто с аппаратом снимать барышень.

— В общем, шикарный скит, — донеслось откуда-то, некий Сережа или Митя от души выразил восхищение. Барышни на его зашикали.

— Разве можно так о ските?

— Да ведь я и говорю, что прекрасный...

* * *

О. Памва со своим выводком отплыл на большом боте, мы же еще остались. О. Тарасий и местный священник, о. Лаврентий, показывали нам приют при ските, вернее, само помещение — мальчики ушли куда-то на прогулку.

О. Лаврентий, молодой, бритый, с нерусским акцентом, облик уже финского православия, объяснял все подробно. Тут вот больница, тут столовая, это спальни.

— Вас, может быть, удивит, что здесь такой порядок, — говорил он. Скажут: да нельзя и поверить, что дети действительно живут, это, мол, одна декорация. А, однако, они именно тут и ночуют, в этой столовой едят, и так далее. Это мальчики карелы, которых мы ведем в

духе православия.

О. Тарасий перебил его.

— У них недавно печальный случай вышел... он и печальный, и замечательный. Мы мальчика-то этого только что в монастыре отпевали.

— А, это вы о смерти Георгия?

— Вот именно... он ведь как раз русский мальчик.

— И был очень хороший ученик, — спокойно сказал о. Лаврентий. — Вообще примерный воспитанник.

— Вообразите, — продолжал о. Тарасий, очень оживленно, даже показалось, что слегка он волнуется, — были дети на покосе, трясли сено, жарко знаете ли, разогрелись, побежали воды испить. Все выпили. Ни с кем ничего. Один этот Георгий...

— И надо добавить, — методически подкреплял о. Лаврентий, — что этот мальчик отличался особою серьезностью. Был весьма религиозен. Без сравнения с другими. Ему шел одиннадцатый год, а он уже отлично знал церковную службу.

О. Тарасий опять горячо перебил. В его небольших голубых глазах ясно чувствовалось волнение.

— Да, заболевает. Температура страшная, приезжает наш фельдшер, ну, успокаивает его, ничего, мол... пройдет. Скоро выздоровеешь. А он прямо и говорит: «Нет, не выздоровею. Я уж знаю. Каких бы докторов ни звали, я все равно помру». И так, видите ли, уверенно, точно и вправду знает. Жар же, разумеется, все пуще. Но он сознания не терял. Надо думать, воспаление легких?

О. Тарасий вопросительно оглянулся, как бы спрашивая воображаемого доктора.

— Он здесь и лежал, на этой кроватке в лазарете, — протянул о. Лаврентий, указывая на ослепительную, финской чистоты и аккуратности, постель. Правда, трудно себе представить, чтобы несколько дней назад умер на ней ребенок.

— Да, и главное-то: совсем незадолго до смерти (а он и хворал несколько дней), приподымает-ся этот Георгий на кровати, смотрит так пристально, и говорит: «Видите, видите?» — «Нет, мол, ничего не видим». «Да как же не видите, вон Он... Господь-то наш, Иисус Христос, вон, в ногах у постели стоит».

Ну, кто был, смотря, ничего не видят. А он даже волноваться начал. «Да ведь вот Он, совсем рядом, ведь свет-то от Него какой, ведь светлей солнечного, неужели не видите?»

Что-то перехватило горло о. Тарасию.

— Никто-то вот не видал, он видел. К нему, к ангельской-то душе сам наш Повелитель пришел, и прямо его к Себе на грудь принял... Это уж что говорить...

— Замечательный случай, — сказал покойно о. Лаврентий. — Я лично присутствовал, по долгу заведующего. Мальчик, действительно, утверждал, что видит.

* * *

Поблагодарив о. Лаврентия, мы пешком, неторопливо двинулись из скита. Ладога стала совсем синяя, с голубизною, со светлыми кое-где, стеклянными струями. В направлении Сердоболя вился дымок. Белая точка под ним, маленький «Сергий» возвращался с паломниками на Валаам.

— Я полагаю, — сказал о. Тарасий, сохраняя как бы взволнованность, но и задумчиво, — что мальчик этот был особенный, святой.

— Видимо, что особенный, о. Тарасий.

Дорога медленно, плавными полудугами, спускалась вниз. Справа, слева открывались леса, кой-где блестело серебро пролива. Далеко над лесом воздымалась колокольня монастыря.

Очаровательны такие монастырские дороги — на Афоне ли, на Валааме меж лесов, в благоухании вечера наступающего, в тишине, благообразии святых мест. Незаметно будто бы, но нечто входит и овладевает путником.

О. Тарасий посмотрел на меня.

— Вам нравится у нас тут?

— Очень нравится, о. Тарасий.

И я, и спутники не были разговорчивы сейчас, но о. Тарасий, думаю, почувствовал, что над всеми нами некая власть его Валаама. «Валаамские монахи обожают свой остров, — говорили мне и раньше, — холодность к нему воспринимают как обиду».

— Раньше, знаете... тут не только зайцы, лисы людей не боялись. Прямо на дорогу и выходит, хвостом своим, помелом, помахивает. Ну, теперь много пораспугали.

Мы спустились к мосту через глубокий овраг. На другом берегу оврага опять церковь, небольшая, деревянная.

— Гефсимания. Раньше тоже тут скит был, а теперь в запустении. В том здании финны солдаты живут, артиллеристы.

«Мир» вошел-таки на Валаам: что делать! Ведь советская граница, по воде Ладоги, в каких-нибудь двадцати верстах.

Мы зашли в церковь, благоухающую кипарисом — весь ее резной иконостас, из кипарисового дерева, создан «трудами валаамских иноков».

А в стороне от церкви, на лужайке, окаймленной лесом, стоит бедная часовенка, совсем открытая. Огромная икона-картина «Моление о чаше» всю ее занимает. Впечатление такое, что просто среди леса икона, едва прикрытая от дождей, — типичный валаамский уголок, божественное, окруженное природой, природа, знаменованная святыней.

...В прозрачном вечере, спустившись вниз к заливу, мы нашли мотор и моряков наших, Светика и о. Рафаила, в мирном разговоре. Каменный крест высился над ладьей, на берегу. А над ним отвесные скалы, на вершине которых сосны.

И мы сели, чтобы продолжать наш путь по острову.

О. Николай, худенький, с бородкою, с кроткими серыми глазами, тихий и безответный, смиренным видением встает в памяти моей на плотнике близ Коневского скита. Сзади пустынька о. Дамаскина — мы не успели в этот раз осмотреть ее. Слева озерцо, узкое и длинное, с плавающими по воде желтыми березовыми листьями. И справа озеро, тоже малое, и тоже зеркальное. Кругом лес, тишина. Прямо перед нами церковь, и у входа о. Николай, схимник и пустынножи-тель, даже не иеромонах. Он не может вас благословить, но с каким глубоким уважением целуешь эту старческую, морщинистую руку... О. Николай ведет показывать свою деревянную церковь. Он всем видом своим как бы извиняется за то, что существует. В этой последней скромности его есть даже и таинственное. Семидесятилетний старичок, точно сошедший с нестеровской картины (схимник у озера), но вот такой тихий и особенный, что сядет он в лодку — лодка сама и поплы-вет. Зайцы придут кормиться из его рук, ласточка сядет на рукав. Может быть, он идет, а может быть, и уйдет туда, за церковь, растает в лесу.

— Он будет в ночь на воскресенье сослужить в этой церковке о. Федору, когда мы причащаться-то будем, — шепчет Михаил Алексеевич.

...Времени мало, и мы торопимся. Главное посещение Коневского скита еще впереди. А сейчас мы едем за о. игуменом, опять в скит Всех Святых. Какой полный день! В жизни нет одинаковос-ти. То недели и месяцы, где все пусто, то часы, заставляющие тебя, в переполненности, молчать, быть наедине с налитым в тебя.

Мотор постукивает. Опустив руку за борт, чертишь пальцем по бегущей воде узор, разлива-ющийся серебром. Смотришь на гранитные утесы. Они поросли мхом. Вот березка повисла над гладью, над стеклом залива. А там выше богородицына травка разметалась по луде лиловыми пятнами, под соснами, до которых и не доцарапешься по отвесу.

Заехав за о. игуменом, мы возвращались в монастырь. На одном из поворотов залива справа выплыл большой бот о. Памвы с паломниками. Светик и о. Рафаил застопорили. О. Памва также. Корабли наши сблизилась, двигаясь по инерции, потом мы дали немного ходу и выдвинулись вперед. Увидев о. игумена, молодежь с о. Памвою поднялась, стоя, хором пели они знаменитую песнь монастырскую: «О, дивный остров Валаам...» Она звучала здесь довольно стройно. О. игумен тоже поднялся, благословил издали паломников.

Потом сел, тихим своим голосом сказал мне:

— Приятно видеть здесь православных, русских. Это нам всегда очень радостно.

И указал о. Рафаилу рукой движение к монастырю. Светик нажал рычаг, наш мотор, как адмиральское судно, пошел вперед. Сзади плыли паломники.

И сквозь шум машины хор выводил свой однообразный напев:

«Рука божественной судьбы

Воздвигла здесь обитель рая...»

Приблизившись к мостику, под который надо нам было приходиться к монастырю, о. Рафаил встал и опять сигнально протрубил в свой небольшой рог.

Валаамский вечер

Мы долго бродили у монастырской решетки, под деревьями, над проливом. Сквозь листья краснел закат. Ладога под ним сизела. Лес зеркально отображался в проливе — сосны росли кронами вниз. Потом прошел белый пароходик из Сердоболя, сломал зеркало. Сосны в воде затанцевали змеями.

Восьмой час, пора домой. И вдоль белых корпусов монастыря, мимо Святых ворот, мимо часовни, густой аллеей, темнеющей уже, мы выходим к белой нашей гостинице, утопающей в жасмине.

Как раз час ужина. По гулким каменным коридорам пожилые женщины носят в номера еду. И в нашу узкую комнату, сдавленную тяжкими стенами, постучала со словами молитвы наша Ефросиньюшка.

— Подавать, барыня, прикажете? — обратилась к жене.

Мы сидим у стола, перед небольшим оконцем. Красная заря пылает в нем за жасмином. На скромных кроватях наших, на самой Ефросиньюшке ее ответ.

— Пожалуйста, подавайте.

Ефросиньюшка, кажется, из Архангельской губернии. На ней платочек, вдовьего цвета кофта, грубые башмаки. Лицом бледновата, часто улыбается, обнаруживая неважные зубы, по-северному окает. В движениях довольно быстра. Подает, убирает с тем видом, что вообще ей всю жизнь, с утра и до вечера так и надлежит разносить, мыть посуду, работать в прачечной.

Вот она внесла на большом подносе гороховый суп и рис.

— А еще, барин, вам о-тец Лука, во-о, гостиник... велел передать: как вы его звали, то нынче, значит, с гостями управившись, к вам придет. Гости с пароходом понаехали.

Она ставит на столик нам нехитрые яства.

— Все и хлопочем, все вот и охлопатываем.

— Что же, вы давно тут при монастыре? — спрашивает жена.

— А давно, милая барыня. Без малого усю жизнь. Я уж тут приобыкла.

Она смотрит своими белесоватыми глазами, точно говорит: «где же мне иначе и быть-то, как не в монастыре?»

— Зимой, наверно, у вас тут сумрачно?

— Чего сумрачно! Гостей нет, гостиница пустая... ну, конечно, снегом все заметает, а мы ничего. Дорожки-то, во-о, протоптаны, мы в валенках. Ничего. На братию стираем, одежду чиним.

— А в городе бывали?

— Как же, как же... Я в Сердоболе была.

Мы едим пресный гороховый суп. Она стоит около двери, слегка улыбаясь.

— У меня полушалок поизносился, я к о. Луке. Он мне дал тридцать марок, говорит: «съезди в Сердоболь, там себе и купишь». Разумеется дело, летом нельзя, а зимой ничего, съездила.

— В этом году?

— Не-е, не в этом, тому годков пять. С нашими же, с прачками. Ничего, хорошо съездили.

— Город-то посмотрели?

— А чего его смотреть? Город, как город. Полушалок купила, да и домой.

— Что же, теперь когда соберетесь?

Ефросиньюшка весело рассмеялась. Вопрос показался ей странным.

— Да ведь я тот-то полушалок без малого пятнадцать лет носила. А так у меня все, слава Богу, есть. Мне ничего не нужно. Ну, съездила разок, и чего там... Господь с ним, с городом. Мне ничего не нужно. Вот, свою недельку у вас отслужу, а там другая меня сменит, мы по очереди. Летом-то хлопотно, гостей много... вот и заговорила с вами...

Ефросиньюшка вышла, а мы доедали монастырские блюда.

— Прелесть, — сказала жена. — Лет через десять съездит еще разок в Сердоболь.

В окне потемнело, когда Ефросиньюшка принесла самовар, — как следует, кипящий, с угарцем. Зажгли лампу, кажется, лучшую отысканную для меня в монастыре. От ее зеленого колпака, выпуклых узоров на резервуаре, пахло Калугой, детством. При таких лампах готовили мы когда-то уроки.

* * *

Насколько быстра и как бы безраздумна в простоте своей Ефросиньюшка, настолько медлен, сдержанно-серьезен, и весь «в себе» о. Лука. Он постучал, вошел, перекрестился на икону, высо-кий, худой и слегка сгорбленный, в белом подряснике с черным бархатным поясом. Приблизился к столику, благословил яства и степенно сел. Он, как говорят, «хозяин» гостиницы. Целый день на ногах, целый день обращаются к нему с разными мелочами, и не раз, глядя на него, думалось, почему этот человек с мистическими темными глазами, худощавым чернобородым лицом, воисти-ну иконописным — почему приставлен он к такому «мирскому» делу? Он очень живописен, раздавая ключи молодым послушникам и переводчикам, водворяющим туристов, но все-таки больше я его вижу в церкви, совершающим литургию, чем в холле монастырского отеля.

Он сел, спокойный и задумчивый, с несколько усталым и болезненным видом — иногда мне и вообще казалось, что он преодолевает физические боли. Разговор неторопливо налаживался. Временами о. Лука полузакрывал глаза, медленно проводил рукою по лбу, поправлял прядь волос.

— Да, приезжие бывают разнообразные. Конечно, русские нам ближе. Мы тотчас

разбираем, кто православные паломники и посещают службы, кто туристы.

Это заметно, разумеется, и без его слов. Для иностранцев и туристов есть дорогой ресторан (ravintola, тут же при гостинице), паломники «вкушают» монастырскую пищу по номерам.

— Хотя, надо сказать, — продолжал о. Лука, — что и среди иностранцев попадаются интересные.

Он слегка улыбнулся. По его строгому лицу прошло что-то смягченное.

— Вот, например, появляются у нас однажды две девицы, американского происхождения. Мы, дескать, из Чикаго. Хорошо. Намерены посмотреть монастырь, побыть два дня. Совсем моло-денькие, сестры, очень живые, расторопные такие, всем интересуются. Покажи то, да покажи это. В церковь сейчас же отправились, приказали о. Борису в половине третьего утра к полунощнице в дверь постучать, будить, значит. (Прежде-то у нас в монастыре всем подряд в третьем часу стучали, и даже произносили особые слова: «Пению время, молитве час. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — а теперь этого более нет, лишь желающие заказывают).

И на самом деле, побежали. Да вообще... и к ранней обедне, и к поздней, все как православные. Прошло два дня. Ехать бы уж пора. Но в последнюю минуту они говорят: «Мы бы еще два денька остались». Пожалуйста. Еще два дня прошло, они в удовольствии, по скитам ходят, служб не пропускают... А можно, говорят, еще недельку у вас погостить? Разумеется, мол, очень рады. Они еще недельку, там еще... и никак уехать не могут. Да сколько прожили, чуть не три месяца! Они, действительно, оказались очень хорошей души барышнями. Так вошли в жизнь духовную... знаете ли, на службах прямо плачут. Поклоны бьют, перед святыней на полу простираются. Значит, доходило в сердце. И по-русски стали учиться. Мы, говорят, и раньше вашу страну очень высоко полагали и музыку вашу знаем, и ваших писателей, и даже немного в Чикаго уроки русского брали, а теперь прямо видим, это что-то удивительное... Служба церковная, пение... — а уж они по-русски и говорить немножко стали, и понимают. К схимникам ходили о вере беседовать. Смирение старичков наших их очень трогало, а особенно они сошлись с простыми нашими женщинами, служащими, прачками, вот вроде вашей Ефросиньюшки. Они все говорили: «Это и есть настоящие люди и настоящая жизнь. Они у вас тут все праведницы, потому в труде и для ближнего, да для Бога живут». Ну, это им по их молодой горячности казалось, что праведники и праведницы все... однако же...

О. Лука остановился, полузакрыв глаза, потом открыл их. Важное, даже не без строгости выражение они имели.

— Однако же, монастырская жизнь и взаправду не забава. Они это почувствовали. И настолько увлеклись, что даже опростились. Завели себе высокие сапоги, платочками повязались, полущубки достали, и принялись с нашими бабами работать. Да прямо, знаете, белье стирают, в трапезной посуду моют, одежду чинят...

— Вот вам и американцы, о. Лука.

— Кто же они такие?

Одна художница, а другая все петь на сцене хотела... пустое это она себе занятие придумала. Обе здоровые такие, сильные, но восприимчивые девушки.

...А почему уехали — (они и вправду могли бы на зиму остаться), — да отец забеспокоился. Куда, дескать, пропали? Мы даже из Выборга от американского консула получили запрос, что, мол, с такими-то девицами, где они там у вас? Тут они уже и собрались, но куда же поехали? Не то, чтобы домой, на родину, а прямым ходом в Россию. Один наш монах им рассказывал, что у него в Ярославской губернии родители и очень в беде живут, по крестьянскому делу. Они очень много с ним разговаривали, он их и русскому языку учил. И вот им запало в голову, не только что Россию посмотреть, но и у стариков этих побывать. Что же вы думаете, ведь разыскали! Нагряну-ли к ним неожиданно, дескать, поклон с Валаама от сына привезли...

Мы все трое рассмеялись — представить себе только старых ярославских крестьян, к которым вдруг заявили американки!

— Видите, и не побоялись в чужой стране, — продолжал о. Лука. — Они, конечно, вообще смелые, рискованные девушки, что и говорить.

Двое суток в деревне прожили, на полу спали, тут знаете, и куры, и теленок, может быть, ну, как у нас в крестьянстве. Они подарков навезли, провианта с собой, одежды. И потом посылки из Москвы посылали. По душе-то ведь очень добрые.

О. Лука отпил глоток чаю. Помолчав минуту, продолжал:

— Которая художница, все меня рисовала, и теперь, слышно, мой портрет на выставке выставила...

Неизвестно, конечно, сколь удачно написала о. Луку «рисковая девушка», но что он как бы создан для портрета, иконы, это ясно, и даже среднего достоинства портрет даст по нем представление о духовной России века XVII — в том веке корни о. Луки.

— А знаете ли, где они, все-таки, сейчас? Опять в России. Только не одни. Их теперь мамаша провозжает. Они через Японию двинулись.

* * *

О. Лука сидел довольно долго, рассказывал степенно и неторопливо, с той глубокой внутренней воспитанностью, которая для монахов типична. Потом встал, перекрестился, благословил нас, ушел — все это медленно, изящно и значительно. И не удивишься, что такое впечатление произвел он, да и другие наши монахи, на «восприимчивых» барышень.

Утром мы встретили его на обычном месте, у входа в гостиницу. Он был довольно оживлен.

— Вот только что к нам американский турист приехал. И оказывается, ихний знакомый. Сейчас же меня спросил. Через переводчика нашего передал поклоны, и что дескать из Японии и к нам заедут.

В лесах Валаама

...Под вечер мы отправились в пешеходное странствие — одно из чудеснейших занятий на острове.

«Пустынька о. Назария» недалеко от монастыря. Почти за самой гостиницей начинается дорога, проведенная игуменом Дамаскиным. Она обсажена теперь разросшимися пихтами и лиственницами. Идет сперва чрез небольшое поле, а затем вступает в лес — прямая, ровная, поражающая гладкостью своей, хоть бы для автомобилей Франции. Но где найдете во Франции такое «растворение воздуха», благоухание, как в лесах Валаама?

Пройдя с версту вековым бором, все в сопровождении голубовато-зеленой хвои аллеи, приходишь к странному, таинственному месту: более ста лет назад сюда уединялся игумен Назарий, духовный обновитель и восстановитель Валаама, «для молитвенного собеседования с Богом».

Влево от дороги, в лесу, и стоит каменный домик александровских времен. Очевидно, и тогда здесь было тихо и пустынно. Но теперь все приобрело еще особый отпечаток. Неутомимый Дамаскин построил небольшую церковь, завел кладбище, насадил питомник тех деревьев, которых нет, или есть мало в валаамских лесах: кедры, пихты, лиственницы, тополя, дубы, липы, орехи, «разнородные благовонные кустарники»... Деревья разрослись, и древняя келия Назария осенена такою тьмой зеленой, что когда вступаешь сюда, кажется, что уже чуть не ночь. Если лес и ранее благоухал, то тут попадаешь в настоем благоухания, особый воздух, соответствующий сумраку, тишине и величию места. Черный крест из гранита, трехаршинной вышины, встречает у келий.

Никого! Сам луч солнца вечернего едва пробьется сквозь силу дуба, ели, кедра — все равно, ему не разогнать прозрачных и благоуханных сумерек. Земля темно-коричневая, усеяна иглами, кое-где желуди, шишки. Подвигаемся к церкви. Вокруг нее кладбище — здесь упокоился сам игумен Дамаскин.

Сквозь ворота колокольни, стоящей отдельно, выходим в сторону озера. Стало светлее. Тихий, золотистый вечер ясно чувствуется. Вниз, направо, видно в лесу кладбище попроще, целый рой крестов. Далее, на лужайке, пасутся коровы.

Мы влезли на забор — деревенское наше «прясло», сидели на верхней жерди у кола, смотрели на Ладогу, прямо перед нами простершуюся, нежно-голубую, со светлыми струями, с туманным, дальним берегом — мягкая линия холмов. Тишина, пустынность. Та тишина и та пустынность, что дают особый, неизвестный в других местах мир. Это мир благообразного и святого мира, раскинувшегося вокруг, отблеск зеркальности Ладоги, сумеречного благоухания пустыньки и всей бесконечной ясности неба. Слабо позвякивают колокольцы стада — кроткой нотой.

...Мы недолго засиделись, все же, на заборе. Хочется повидать келию схимонаха Николая.

Вновь проходим через валаамское Campo Santo. По большой дороге поднимаемся лесом в горку — некогда Александр Благословенный задохнулся на ней, направляясь к отшельнику.

Самую келию, крошечную, укрытую теперь деревянным шатром-избою от непогоды и разрушения, посетили мы в смешанном чувстве тишины, почтительного благоговения и поэзии. Здесь сидел Александр... — жил тут простейший, скромнейший Николай,

молитвенник и труженик, возделыватель огорода рядом, источник благоволения ко всему. Какой был он? Наверное, такой же старичок, каких я видал здесь, да и на Афоне: та же приветливая и смиренная Святая Русь.

Где жил, там невдали и похоронен. Могила тоже небогата, тоже осенена разросшимися елями. Под деревянным навесом на столбиках, окруженным решеткою, простой деревянный гроб, крест с Распятием. Колода изъедена временем. И весь безмолвный этот угол в вечерующем лесу, глубоком его молчании, так же неказисто-прекрасен, как был, наверно, сам неречистый трудник «зде почивающий».

На Валааме есть обычай у паломников: отколупывать от этого гроба, пальцами и ногтями, щепочки. Кому удастся отколупнуть, та щепочка «помогает от зубной боли».

Мы поклонились праведнику и взяли за дело. Не так легко, дерево хотя ветхое, а держится. Но все-таки отломил — очень немного, вроде больших заноз. Не знаю уж как насчет зубов, но с собою на чужбину увезли, как шишки Валаама, как горсточку его земли.

* * *

«Странствие по святой земле», так можно назвать дальние прогулки по лесному острову. Мы опять вышли на дорогу и не торопясь, в ритме спокойном и облегченном, двинулись далее. Теперь аллея пихт и лиственниц окончилась. Дорога стала проще, с колеями, кой-где песок на изволоках, тетеревиная травка, брусника. Лес не такой ровный и великолепный — с явными лысынами от бурь. И все диче, глуше... На одном повороте, спускаясь в ложбинку, встретили фигуру в подряс-нике. Можно было подумать, что монах, но вблизи мы узнали его сразу и заулыбались друг другу: кэмбриджский студент-теолог, англичанин чистейший, застенчивый юноша, живущий в гостинице нашей. На всех службах, в соборе ли наверху, или в нижней церкви у раки Преподобных всюду мы его встречали, как и с русским чайничком в коридоре гостиницы. Он живет на Валааме уж недели три, одевается по-монашески, комнатка его вроде иконной лавки. Он очень усердно бьет поклоны, по своему требнику следит за службой и мечтает посетить в Париже Сергиево Подворье, Богословский институт. А сейчас, с котомкой, палкой, запыленный и вспотевший, но веселый, радостный, возвращается из такого же странствия, как и мы.

На слабом немецком обмениваемся несколькими словами с английским юношей о русских святынях. Он был уже там, куда мы идем, и родные слуху нашему имена Сергей, Зосима и Савватий неизбежно искажаются в его нерусском выговоре, приобретают новый лишь оттенок. Мы расходимся. Он к монастырю, мы дальше, в глубь лесов.

Долго идем прямою и пустынною дорогой. По сторонам, кое-где, сложены саженьями срубленные дрова. А в конце, как бы завершая длинный перегон, часовенка. Это и есть «Сергиус» студента — Преп. Сергей Радонежский.

Ястребок сидел на одной из двух елей, ровно осеняющих часовню. Ели огромные, прямые. И не только кобчик, целый глухарь в ней укрылся бы. Маленький же разбойник издали нас увидел и снялся.

Поднимаемся на крылечко. Как всегда на Валааме, дверь не заперта. Часовня ветхая,

среди многих, мною виденных, одна из наиболее намеленных, уютных. И поставлена-то будто так, что вот идет паломник, длинною стрелой дороги, притомится... — тут и зайдет к Сергию Радонежско-му. Может посидеть на крыльце на лавочке, а потом — внутрь. Там же есть скамейки, и подобие иконостаса, разумеется, икона Преподобного. Вот он святой Сергей! Более десяти лет назад, в глухом предместье парижском, дал он мне счастье нескольких месяцев погружения в его жизнь, в далекие века родины, страждавшей от татар, усобиц, унижений... — и над всей малой жизнью русского писателя вне родины, оплодотворяя, меняя ее, давая новые мотивы, стоял его облик. А теперь довелось и как бы «встретить» Преподобного... — в диком лесу, вроде того, где сам он жил, на земле русской. Ведь к такой, совсем к такой часовенке, где только что сидел, молился англичанин, вполне могли бы подходить медведи Радонежа, и сама эта часовенка мало чем отличается от первобытной «церквицы» на Маковице, которую собственноручно рубил св. Сергей. Да и весь крестьянский, «труднический» и лесной дух Валаама так близок духу Преподобного!

У иконы лежал акафист, напечатанный на картоне, с ручкою, его удобно держать перед собой. Прочитав его, приложившись к иконе, мы тронулись далее.

«Помилуй нас, чтущих пресветлую память твою, да зовем ти: радуйся, Сергие Богомудре».

Идти было легко.

* * *

В одном месте коровы целым стадом вышли на дорогу, позвякивая колокольцами, преградили нам путь. Жена испугалась было. Но мы прошли, конечно, беспрепятственно. Они глядели на нас удивленно прекрасными, стеклянно-бархатистыми глазами, выражавшими некое коровье тупоумие, но не злобу. Скоро осталось от них только дальнейшее позвякивание, а впереди, сквозь редкие стволы сосен и елей туманно стала сиять Ладога — мы подходили к оконечности валаамского острова.

Добрались до коровника-фермы. Вышедшая из дома женщина указала дорожку. И мимо скотного двора, каких-то прачек, ожесточенно стиравших, мы прошли к большой часовне, почти церкви, Савватия и Зосимы Соловецких.

Здесь, сидя на крыльце, можно любоваться вновь на серебристую Ладогу. Отделенный небольшим проливом, выступает невдалеке, крутыми скалами, обрывающимися в воду, так называемый Святой остров — одно из замечательных по красоте мест Валаама. В пятнадцатом столетии там жил св. Александр Свирский, позже основавший собственный монастырь на южном берегу Ладоги.

Мы пробыли тут довольно долго. И сама часовня показалась нам суровой и беднее Сергиевой (хотя она гораздо больше). Или уж подсказывает так воображение? Соловки? Крайний север, океан Ледовитый?

Мне все вспоминалась именно здесь картина, виденная у игумена, в его покоях: зима на Валааме, скалистый берег, как на Святом острове, хмурое озеро, полузамерзшее, ледяные сталактиты по берегу и рогатый олень. Закинул назад голову, смотрит в сумрак и ночь

Севера.

* * *

Обратный путь наш был спокоен, беспрепятствен. Леса в обратном направлении проходили перед нами, точно отражение в зеркале. Иногда новые дороги ответвлялись, но мы не сбились. Стадо уже ушло. Солнце подходило к закату, в лесу легла прозрачно-синеватая тень. Мы никого не встретили из людей. На одном перекрестке белочка пробежала по земле у самой дороги, схоронилась в кучу хвороста. Мы остановились. И она притулилась. Кто кого перемолчит? Мы стояли минуты две. Она не выдержала и, шурша цепкими лапками, развевая хвост пушистый, вознеслась по сосне до высокой ветки. Там ей покойнее. Но на всякий случай прячется за ствол, только хвост веет оттуда, мордочку же высунула, и как блестят маленькие, острые глазенки...

А потом и кончились леса. Мы были благодарны им, и жаль даже было расставаться. У монастырских зданий бегали и хохотали молодые послушники «кафтанники», как их зовут здесь. На фронтоне белой гостиницы сиял еще последний отблеск заката. У подъезда подвода с чемоданами только что приехавших гостей — пароходик привез их из Сердоболя — и монах разгружает ее. О. Лука, высокий, худой, с мистическими темными глазами, окруженный переводчиками в подрясниках, распределяет прибывших по комнатам и раздает ключи. В огромных коридорах зажгли лампы. Ефросиньюшки, Авдотьюшки разносят по номерам щи, гороховый суп, рис.

Мимо нас, в своем черном подряснике с желтыми отворотами, держа в руках миску, проходит английский Алеша Карамазов.

Александр на Валааме

В августе 1819 года иегумен Иннокентий получил от министра духовных дел Голицына письмо — на Валаам собирается государь, проездом из Архангельска. Не желает никаких торжеств и встреч. Едет с одним камердинером, как обыкновенный путешественник. Так что не нужно ни колоколов, ни риз, ни крестов.

Иннокентий сам был простой человек, из крестьян Олонецкой губернии. Уже занимая большой пост в монастыре, на себе таскал кирпич для стройки и трудился на рыбных ловлях. Наверно, и в других ценил простоту. Все-таки император Александр, победитель Наполеона, властелин России и Европы в виде «штатского» человека с камердинером... — и принять его, как заурядного паломника, какого-нибудь купца из Петербурга! Это казалось странным. Поколебавшись, посоветовавшись между собой, решили встретить по-настоящему.

Навстречу государю в Сердоболь выслали монастырское судно. В Сальму послали эконома Арсения — там стояло другое судно, и Арсений должен был везти Александра откуда тот пожелает: из Сальмы или Сердоболя.

Александр прибыл в Сальму поздно вечером. Иеромонах Арсений поднес ему на блюде

просфору с вынутою частью. Император подошел под благословение, поцеловал Арсению руку и сказал, что путь его — на Сердоболь. Подтвердил, что никакой встречи не надо. Не желает также, чтобы ему кланялись в ноги и целовали руку.

Арсений поскакал тотчас в Сердоболь, послав нарочного в обитель. А гость, как бы отклоняв-ший на этот раз все, в чем прожил жизнь, утром выехал вслед за ним.

Сумрачно было на Ладоге 10 августа 1819 года! Тучи, такой сильный ветер, такая волна, что государь в Сердоболе спросил даже Арсения, можно ли в такую погоду выезжать? На что эконоом ответил: «и в худшую плавали, ваше величество, с помощью Божией». Последнее соображение, может быть, и определило все. Александр с эконоомом и камердинером тронулись.

В монастыре же следили за озером и с колокольни, и с передового островка, где скит св. Николая (с давних пор зажигался ночью в часовне фонарь — окна выходили во все стороны и фонарь служил маяком). Но прошел день, вечер наступил, непогода не унималась, а судна все не было. Когда стало совсем темно, дозорные ушли, решив, что сегодня никого уже не будет. И даже, совершив братское вечернее правило, легли спать.

Не в укор им говорится дальнейшее — они не виноваты — но вышло как бы и по евангельски: жених явился «во полунощи», а светильники их погасли. Его не встретили.

Более трех часов плыл в сумерках, а потом и в полной тьме император Александр, и если бы не огонек св. Николая, покровителя мореходов, на пустынном островке, то и неизвестно, как бы ввел в узкий пролив иеромонах Арсений своего высокого гостя.

В тишине и мраке причалили. И лишь когда подымались вверх, по гранитной лестнице, в монастыре узнали о приезде. Зазвонили колокола: монахи спешно стали собираться. Шли во тьме по монастырскому двору с ручными фонариками. А гость стоял на церковном крыльце. Подходи-ли клиросные, в алтаре облачали старого Иннокентия, уже более полувека трудившегося в монастыре, а теперь полубольного (не мог бы, как прежде, носить на себе кирпичи).

Александр ждал покорно. Эти минуты, в бурную валаамскую ночь на паперти перед храмом, в который не мог он еще войти, были для него, вероятно, не совсем обычны.

Игумен Иннокентий, благочинный Дамаскин, эконоом Арсений и другие считали его высочай-шим начальством — монастырь, как и вся Россия, его «вотчина». Заехал он к ним, объезжая ее. Сперва властитель, а потом паломник — этого властелина встретили не совсем удачно и, наверно, были смущены. Но император держал себя не как начальство, не как ревизор. Он приехал, действительно, богомольцем. Что принес с собой в сердце, уже столько пережившем? Мы не знаем. Но всего меньше можно думать, что свет и мир — этого-то ему как раз и не доставало.

* * *

Восемнадцать лет был уже Александр императором, не просто человеком, а существом — символом, воплощавшим Россию, мощь ее. Не так легко было снять одежду, к нему приросшую. И по логике жизни, «паломник» должен был ждать, пока в соборе

«приуговоряли», и облачившийся Иннокентий, с крестом, в ризе, при открытых царских воротах, встретил посреди храма императора. Люстры сияли, хор пел многолетие. Александр приложился к иконам, подошел под благословение к игумену и по очереди ко всем иеромонахам, каждому целуя руку. Себе же запретил кланяться земно.

В нижней церкви поклонился раке над мощами свв. Сергия и Германа, а потом пил чай у игумена, в той же небольшой, но тихой и чистой квартирке с цветами, сияющими полами, маленькими окнами в толстенных стенах, где и теперь живет игумен, только теперь длинный ряд портретов игуменских, начиная с Назария, украшают соседнюю с гостиной комнату заседаний монастырского совета.

За чаем Александр с игуменом сидели, «старшая братия» стояли. Государь говорил, что давно собирался на Валаам, да задерживали дела. Разумеется, спрашивал обо всем, касавшемся монастыря. Разумеется, и никак не мог перестать быть императором, хотя, видимо, этого хотел.

После чая его отвели в царские покои, над Святыми воротами, во внешнем четырехугольнике монастыря. Вероятно, как теперь, и тогда под окнами были густолиственные деревья, мрачно они шумели, как и в ту ночь, страшную и роковую, что принесла ему раннюю корону.

Хорошо или плохо спал император в царских покоях пред пустынным суровым пейзажем Валаама, рядом с храмом апостолов Петра и Павла, мы не знаем. Но уже в два часа ночи он был у дверей собора — пономарь едва успел отворить их. Очевидно, так рано его не ждали, и встал он сам, его не будили, иначе все было бы уже приготовлено, пономарю незачем было бы спешить. Три-четыре часа отдыха после дальней дороги не так уж много... И не говорит ли это скорее за то, что и сам отдых не так уж был безмятежен?

Александр отстоял утреню в соборе, раннюю обедню в церкви Петра и Павла, потом осматривал монастырь и пешком отправился по пустынькам в лесах.

Современный валаамский паломник может восстановить путь императора. Теперь к «пустынной келии» покойного схимонаха Николая проведена прекрасная дорога, обсаженная пихтами и лиственницами. Тогда в таком виде её не было. Государь шел пешком, подымаясь на изволок слегка задохнулся.

— Входя на гору, всегда чувствую одышку, — сказал благочинному Дамаскину, сопровождавшему его. — Еще при покойном императоре я расстроил себя, бегая по восемнадцати раз с верхнего этажа вниз по лестнице.

Но, несмотря на одышку, к Николаю дошел.

Этот схимонах Николай был прежде келейником знаменитого игумена Назария, духовного восстановителя Валаама. Назарий ввел его на духовный путь, и он поселился отдельно, в тесной лесной келии, три аршина на три. «Жизнь его протекла в трудах и непрестанной молитве». Вот и все, что мы о нем знаем. Но и сейчас видим крохотную келийку, подлинно избушку на курьих ножках, где обитал добрый дух в виде старичка Николая. Теперь над келийкой деревянный шатер, как бы футляр-изба, защита от непогоды и стремление дольше сохранить первоначальное.

Как ни убого обитал, однако, добрый дух, именно к нему-то и пришел Александр, несмотря на одышку и на то, что по дороге пришлось чуть не ползком пролезать под

какую-то изгородь. Победитель Наполеона, умиротворитель Европы, въезжавший с триумфом в Париж, сгибался вдвое, чтобы войти в хижину смиренного Николая (Дверь эта, действительно, скорее дыра, чем дверь.) И вот, все-таки вошел. Сидел на деревянной табуретке у того самого столика, что и сейчас стоит в келии, и при таком же бледном и унылом свете из оконца игрушечного разговаривал с Николаем о духовной и аскетической жизни. Мало это походило на Тильзит или на заседания Венского конгресса.

Отшельник предложил ему три репки со своего огорода, своими руками выращенные, — все, чем мог угостить. Александр взял одну из них. Она была нечищенная. Благочинный Дамаскин, стоявший рядом, спросил нож, чтобы очистить. Александр сказал:

— Не надо. Я солдат, и съем ее по-солдатски.

И зубами начал отдирать кожуру. На прощание же поцеловал Николаю руку и просил благословения и молитв.

* * *

Вернувшись в монастырь, государь снова пил чай в игуменских покоях. Его угощали фруктами из знаменитого, и сейчас существующего, монастырского сада, вполне похожего на Эдем. Александр ел крыжовник и малину (нынче замечательна красная смородина). А потом ему поднесли описание монастыря и — жизнь есть жизнь — кое о чем практическом попросили: о прибавке к больничному штату пятнадцати человек, о подворье в Петербурге. Он обещал все исполнить.

После полудня возили его в шлюпке по скитам, и Александр любовался красотой вод, лесов и гранитов валаамских. А вернувшись, отстоял малую вечерню и правило. Позже вышел и ко всенощной. Поместился у столба, во время поучения сидел на скамейке с братией, как полагается. Старый слепой монах Симон тронул рукой сидевшего с ним рядом государя и спросил тихонько: «кто сидит со мной?» Александр ответил:

— Путешественник.

А на другой день, на ранней обедне, начавшейся, как и теперь, в пять часов утра, стоял рядом с пустынно-служителем Никоном, глубоким стариком, опиравшимся на костыль и так выстаивавшим долгие службы. От усталости в этот раз Никон выпустил костыль, поскользнулся и упал — Александр поднял его и усадил на скамью.

По окончании же литургии, на напутственном молебне преп. Сергию и Герману, когда вынес-ли Евангелие, государь стал на колени. Иннокентий положил ему на голову руку и, держа сверху Евангелие, читал те самые слова, за которыми и плыл сюда в бурную ночь Александр Благословенный, он же грешная и мятущаяся христианская душа, ищущая успокоения:

«Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим»...

* * *

«Путешественника» провожали по-царски. Звонили во все колокола. Клиросные шли к пристани впереди, пели тропарь и догматик. За ними братия и государь с игуменом. Медленно отваливало судно, медленно шло проливом под гудение колоколов. А пение сопровождало путешественника и на Ладоге: по его просьбе, пели монахи хором Спаси Господи, Херувимскую и другие песнопения.

Путешественник никогда более не увидел Валаама. Политик и дипломат, военачальник, кумир офицеров, чарователь дам, освободитель России, через грех взошедший на престол, начинал последние годы своей жизни. Известная легенда говорит, что он ушел в заволжские леса под именем старца Федора Кузьмича. Верить легенде или нет, всё пребывание Александра на Валааме есть как бы первый шаг, не всегда удававшийся, но первый опыт новой жизни, вне короны и скипетра. Если ушел, тогда все цельно и ясно. Если не ушел, не успел, как долго не мог собраться и на Валаам, то по складу души своей и поведению в последние годы мог уйти: страннику, каким видим мы его на Валааме, неудивительно продолжить странствие свое. И не напрасно в храме, над его головой, звучал голос престарелого Иннокентия, читавшего вечные слова вечной книги:

«Научитесь от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим».

Ночное странствие

...День выдался полный. Встали рано. Ездили вдаль на Святой остров, вечером были в Соборе у всеошной. Очень устали. Знаю это настроение и по Афону: перед серьезным временный упадок, нервность... Но уже все сговорено, налажено, отступать поздно.

Забежал Михаил Алексеевич.

— Значит, едем? Не передумали? — Отлично.

О. Лука дал ему ключ от лодки и от двери гостиницы.

— Только не опаздывайте. Ну, да в четверть второго я вам постучу.

Мы легли в десять. Пружины матрасов кольчатых исполняли тихую музыку каждый раз, как переворачивался. Но мы успели заснуть и успели проснуться не пришлось подымать нас. Ровно в два в темном вестибюле встретились со спутниками. Чрез минуту были уж под открытым небом.

— Не можете себе представить, — говорил нам еще раньше о. Лука, какая прелесть у нас на Валааме весной. Выйдешь в третьем часу к утрене, светает, соловьи какие, и сколько всяких птиц заливаются перед восходом солнца, это удивительно. Красота мира Божьего... А какие ароматы!

Сейчас конец лета. Ни белых ночей, ни соловьев нет. Просто настоящая ночь, тишина, звезды, сырая дорога вниз к пристани, в осенении огромных деревьев. Только слева чуть бледнеет край неба, над лесами Валаама. Никого! К трем часам станут собираться в Собор, но сейчас время еще сна, даже для монахов.

Мы спускаемся, разговаривая негромко — точно предприятие наше тайное... — или вообще так тих этот последний час ночи северной, что неудобно его тревожить?

Трава у пристани вся мокрая. Михаил Алексеевич со Светиком углубляются в некий монастырский док, где хранится мелкая флотилия: лодки, мотор малый, большой. Оттуда они спускают на воду нашу ладью, я подхватываю ее у пристани. Жены слегка подрагивают в холодке ночном, на пристани, седой от росы. Тихо, но оживленно разговаривают.

Мы садимся, отваливаем.

За рулем Светик в своей гимназической кепке, на веслах мы с Михаилом Алексеевичем. Могу ли я вспомнить, когда греб в последний раз, вот так на обыкновенной русской лодке, по русскому озеру? Надо отсчитать столько лет назад, что жутко становится. Но крепко в нас сидит давнее, и сейчас, на веслах этих, чувствую себя обычно, так и полагается, и все это я знаю, все во мне.

Пристань, взгорье в зелени, громада Собора над нею отодвинулись от нас, отделились пестросеребристою путаницей мелких стеклянных дуг и змей, всколебленных лодкой. А впереди полный покой, нежный отблеск звезды утренней в серебре воды, кисейка тумана. Да, как сказал о. Лука: «Красота мира Божьего»...

У часовни Богоматери Владимирской мост перекинут через горло озера, под этим мостом надо проходить. Помню его еще с поездки на моторе с о. игуменом, тот самый мост, пред которым трубил в свой рог о. Рафаил. Мы не трубим — и не во что и незачем: кто попадетя нам навстречу в этот тихий час! Мы разгоняем лодку, складываем весла. Оборачиваюсь. Темный свод моста зеркально опрокинут в воду и замкнулся темным кругом в ней, в этот круг, как лошадь в цирке, прорывая его, влетает наша ладья. Несколько мгновений в темноте, а потом вновь озеро, лужайки справа, камыши у берегов и лес, лес. Вот так тишина! Лишь шуршит лодка, вода мягко булькает, да весла наши постукивают в уключинах, на концах своих плещут.

Леса так же отообразились в воде, как темный свод: те же леса, только вниз макушками.

Мы гребем спокойно, ровно. Все молчат. Проходим мимо Смоленского скита. Лодочка схимонаха Ефрема покачивается в осоке. И сейчас так же, как мы, с другого конца Валаамского острова, гребет на такой же скорлупке схи-игумен Феодор, старец, которого мы посещали: держит путь, как и мы, на Коневский скит, к о. Николаю. Там будет служить литургию, в маленькой скитской церкви. Там будет нас исповедывать и причащать — для того и пльвем ни свет, ни заря.

...Леса, леса. То совсем близко подходя к воде, то выстраиваясь на скалистых, красноватых обрывах, — а все сосны те же, заповедные валаамские. И так же глядятся в озеро. Звезды бледнее. Пролетели две утки — резвым, острым полетом. У маленькой пристани мы причалили.

* * *

В четырнадцатом веке некий монах Арсений пробрался с иконою Богоматери с Афона

в Новгород и оттуда на Валаам... (Подумать только, что это было за путешествие! Но вот являются же люди, которым все нипочем). Арсений пожил на Валааме и двинулся далее. Сел в лодку, взял икону свою и поплыл по Ладоге. В нескольких десятках верст от Валаама пристал к дикому островку, там и поселился. Все тогда вокруг было еще языческое. И на острове совершались жертвоприношения — на огромном камне закалывали коней. Арсений со своею иконою все это одолел. Возник там монастырь с братией, прекратились жертвоприношения. И название остров получил от того монастыря — Коневец. Арсений же умер, — перешел в историю, как святой Арсений Коневский. Монастырь, им основанный, существует и поныне.

В честь иконы, доведшей Арсения с Афона до Коневца, «Богоматери Коневския», и сооружен скит на Валааме.

...Михаил Алексеевич запирает лодку на ключ, мы входим в лес. Уже около трех, по-прежнему полутемно, а здесь, среди черных елей, вовсе тьма. По земле все засыпано сухой хвоей, меж стволов с корявыми корнями тропка совершеннейшая сказка. Не хватает папоротника да избушки. Но у озерца, внутреннего, узкого, становится немножко посветлей. Мы идем берегом. Березы кое-где белеют. Листики на воде недвижны, а вода темно-стальная, из нее опять лес смотрит, перевернутый.

Идти недалеко, до моста на ту сторону. Вступаем на него. Справа опять озерцо, пошире, попросторней. Перед нами, на подъеме, в сереющем сумраке, едва тронутым прозеленью, небольшая лесная церковь. Направо домик о. Николая. Это и есть Коневский скит.

О. Феодор, высокий, крепкий старик за семьдесят, уже здесь, раньше нас доплыл со своего островка. Худенький, тихий о. Николай, небыстрый, легкий в движениях, добрый дух местности этой, зажигает в церкви у икон свечи, налаживает кадило... ему тоже за семьдесят.

Начинается исповедь. О. Николай выходит, в церкви один о. Феодор. А мы — кто на скамеечке пред озером, кто на церковном крыльце, кто взад-вперед ходит по дорожке, дожидаясь очереди. По одному подходим к аналою о. Феодора. Забудем ли когда это утро, сумрак, росу, стекло озера с отраженьем Юпитера, пустоту слабо освещенной церкви, Евангелие, епитрахиль о. Феодора, душную теплоту под нею и сверху мощный, как благословенный гром, разрешительный взглас — электрически сотрясающий.

Потом началась литургия. Много веков назад, в церковке еще попроще, в ризах много скуднейших, но в чем-то и сходственно, служили литургию на Маковице, близ Радонежа. К той, как и к этой, могли бы, кроме людей, выходить из лесов смиренные звери, ждать у церкви.

Служения этого тоже не забудешь, — маленькая, с голубоватым иконостасом в белой с позолотой резьбе церковь, в полумраке, с несколькими свечами у образов, о. Феодор с доброю силой новозаветного Саваофа во всем существе. Тонкий и тихий, старенький ангел Николай на клиросе, небольшим, но верным голосом исполняющий песнопения...

К причастию в церкви стало светлее. Когда литургия окончилась, мы прикладывались к иконам — вот она, с левой стороны, Богоматерь Коневская с Младенцем: на руке Его два голубка, победители диких конеубийц. (Лишь на этой иконе Спаситель и изображен с голубками.)

Выходим из церкви. Уже рассвело. Зверей нет, но птицы поют свое, все полно утреннего торжества, славы, радости. Вот-вот встанет солнце. Леса в дымке, озеро курится у берегов неясным, розоватым туманом. Роса, роса... Воздух — кристалл. Юпитера уже не видно.

О. Николай подошел, поздравил с принятием св. Тайн и сказал негромко, улыбаясь:

— А теперь ко мне, милости прошу, чайку откушать...

Михаил Алексеевич стал было сопротивляться — мы стесним, да хлопоты...

Бесполезно.

* * *

Жилье о. Николая совсем недалеко от церкви — обыкновенная русская изба на берегу озера. Сени, две комнатки, очень светлые, большая печь. Хотя он схимник, но никакого гроба. И вообще, ничего подчеркнутого, нарочитого. (Не очень вяжется с ним и мрачное схимническое облачение — черная мантия, куколь. Белым расшитые кости, череп, тексты св. Писания — я не видал его в этой одежде.)

Мы сели у стола. В углу иконы, в окне озеро, с каждой минутой все светлеющее. О.Николай, в сереньком своем подряснике, возится с самоваром. О. Феодор грузно сел за стол.

— На это-то на озеро, миленькие мои, в прежние времена прилетали птицы весною, пара гагар, и гнездо вили прямо на камне, недалеко от моста. Выведут двоих птенцов, а осенью вчетвером и улетят — Бог знает куда. Но на следующий год опять пара, и на том же гнезде сидят... Тварь это место любит, и не боится.

О. Николай внес довольно большой самовар.

— Вот, о. Николай уж, наверно, с ними был знаком.

О. Николай поставил самовар клубящийся на стол, большими, кроткими своими глазами посмотрел на о. Феодора.

— Гагарочек-то? — Не-е... не видал. Это давно было. Раньше меня.

И принялся разливать чай. Старческими, заскорузлыми руками подавал каждому стакан, слегка кланяясь и улыбаясь. О. Феодор был нынче несколько грустен. Видимо, ему нездоровилось, но все-таки, по деятельной, жизненной натуре, разговор вел за чаем он, попивая с блюдечка, дуя, отгрызая кусочки сахара.

— Сегодня-то хорошо, миленькие, — говорил своей скороговоркой, — лето. Хоть и рано поднялся, а плыть было способно, все вижу. Ну, а прошлой зимой так чуть не пропал... Знаете, лед у меня в проливчике взломало, а мне под вечер надо в монастырь. Вышел на пролив, сначала будто видно, а то и вовсе стемнело, или уж это глаза плохо видят, да и заметать начало. Дорожка знакомая, метелица теплая, чуть что не мокрая, иду, иду... ничевошеньки не вижу. Все заносит, заметает, глядь, тропки и вовсе нет... тьма вокруг, ветер, снег. Знаю, тут где-то полынья должна быть, и все-таки тычусь, то вправо, то влево...

что же сказать: прямо сбился! Не могу уж и сообразить, где мой островок. И раз даже ногой так шупаю — вот он самый край льда, чуть в воду не угодил. Тут уж не токмо к монастырю, домой бы добраться, где и келья не знаю... Стал Николаю Угоднику молитву читать... а все-таки страшно мне было тогда, прямо скажу... ну, так-то вот в темную ночь, да одному в оттепель утонуть.

Он вздохнул. О. Николай сидел на краешке лавки, как будто стесняясь.

Михаил Алексеич отодвинулся совсем под иконы.

— Да вы как следует, о. Николай. А то уж вы такой смиренный... сказала жена Михаила Алексеевича.

О. Николай посмотрел на нее.

— Я-то смиренный? Я даже очень гордый.

Все улыбнулись.

О. Феодор продолжал:

— И насилу-насилу домой доскребся. Бога возблагодарил. Да... на другой день посмотрел, ведь вот по самому краю полыньи этой шел, прямо на вершочек от смерти. Что же поделывать, смерть уж есть смерть... так, видно, человек устроен. И лет сколько, и знаешь уж, что скоро, а все же таки...

— Скоро или не скоро, о том и ангелы небесные не знают, — сказал тихо о. Николай.

Он вообще мало говорил. Смотрел, кто допил чай, тихо и ласково предлагал еще. Потом сидел молча, на фоне окна, фоне озера, так к нему подходившего, все светлевшего, окаймленного лесами, по верхушкам которых ярко блистало теперь солнце.

Когда зашел разговор о любви и трудности любить людей, о. Николай вставил коротко:

— Молиться-то легко, а любить всего труднее.

И подошел к Светику, погладил по голове, предложил третий стакан с такою приветливостью, что трудно было поверить, чтобы этому сквозному старичку трудно было любить, как и невозможно представить себе, чтобы он был гордец.

В разговоре об отношении к врагам вставил тоже недлинную фразу:

— За них нельзя, как за врагов, молиться. Горячих углей на голову насыплешь. Надо, как за друзей.

* * *

Было часов около шести, когда мы распрощались. О. Николай все кивал нам и улыбался. С о. Феодором мы перешли вместе мостик, он взял налево, мимо пустыньки о. Дамаскина, мы вправо, в полном золоте утра, к своей прикованной у пристани ладье. Вот она, бессонная ночь! Никакой усталости радость.

Снова мы с Михаилом Алексеичем на веслах. Светик за рулем, жены на скамеечке за нами. Озеро все стеклянное, по-утреннему курится.

— Будто сейчас закипит, — сказал Светик.

Плавный, легкий ход, шуршанье, постукивание уключин. В монастыре зазвонили к Достойной.

Никольский скит

— Дойдете до пролива, там на берегу било висит. Постучите в него, с островка о. Милий выедет, на лодке. А иначе к нему и не пробраться.

С утра накрапывал дождичек, тихий, не предвещавший непогоды. К завтраку перестал. Было тепло, на небе сизые облака. В третьем часу, лесом, мимо мокрых папоротников, лопухов, мимо жилья финских солдат спустились мы к озеру, дошли до каменистого берега. Вот оно и «било» — небольшая железная доска, подвешенная на столбе. Сзади нас главный остров Валаамский, перед глазами пролив и островок с Никольским скитом — небольшой, плавно-возвышенный, в соснах, из которых подымается белый с золотой главой храм св. Николая Мирликийского.

Звук била резок, пронзителен. «Бейте сильнее, — говорили в монастыре. — И ждите. Если о. Милий куда и отлучился, все-таки услышит».

Мы несколько раз ударили, не очень сильно. Приготовившись ждать, сели на берегу. Но ждать почти и не пришлось. На островке что-то зашевелилось, небольшой серый червячок сполз к воде, потом лодка двинулась в направлении к нам. По мере того, как подходила, яснее стала в ней фигура в скуфейке, сером подряснике.

О. Милий оказался довольно худеньким и несильным монахом, полуседым, с мелкими чертами простонародного лица, маленькими глазками, тоже серыми, глядевшими спокойно, не без равнодушия. Мы поздоровались с ним, и он с нами — с таким видом, что вот он путников таких каждый день возит, и все одинаковые, плохого не сделают, а просто мелькнут на минутку, и конец вновь куда-то исчезнут.

Он греб спокойно, ровно, на озере чувствовал себя, как дома. Мы подплывали. Кроме церкви, ясно виден был теперь большой белый дом, двухэтажный.

— Тут братии раньше порядочно жило, — сказал о. Милий, указывая на него. — А теперь я один.

— Совсем один? На всем острове? — спросила моя жена. — Вам не страшно?

Он посмотрел на нее маленькими своими глазками, как бы с удивлением, точно на ребенка.

— А, конечно, один. Чего страшно? Ничего не страшно. Вечером зажгу маяк, да помолюсь, да лягу. Вот тебе и страшно.

Мы сошли на берег. Медленно, подымаясь по дорожке, направлялись к церкви. О. Милий, в лодке казавшийся немного пасмурным, оживился.

— Эта у меня церква хорошая, — говорил, отпирая ключом дверь. — Она даже прямо как следоват строена. Купец денег дал, Солодовников. Хорошо. Чисто, тихо. Вон, иконы-то

какие! И на стенах писали, трудились. Тут тебе, в кумполе Нерукотворный Спас, там Андрей Первозванный, он тут у нас был ведь на острове... все в порядке. Разумеется дело, Царица Небесная...

О. Милий в храме чувствовал себя совсем дома. Для нас храм этот чужой и пуст, а для него наполнен святыми добрыми существами, среди которых протекает одинокая его жизнь. Он относится к ним благоговейно, но просто, как к знакомцам высшего мира. Ап. Андрей первый водрузил крест на скалах Валаама — значит, он для о. Милия тоже родной, свой, валаамский. А что это могло произойти чуть не две тысячи лет назад, для него значения не имеет: точно вчера. Но главный покровитель, конечно, св. Николай.

О. Милий подвел нас к образу Святителя и потом вдруг отворил его. За иконою оказалась ниша, в ней резное, деревянное и, как бы по-католически раскрашенное изображение св. Николая: он в митре, в одной руке держит меч, в другой — церковь.

— Вон какой! — говорил о. Милий. — Меч-то в руке, гляди... Потому защитник церкви. Там на Соборе Арий очень бунтовался. Ну, он ему прямо даже по уху дал. Это, мол, ересь. Видишь, с мечом-то с небольшим, но уж как праведник, так за святую церковь горой... Да, он уж такой был.

О. Милий покачал головой и почти с восхищением, но и очень серьезно смотрел на Святителя. Вполне можно было поверить, что он его знал лично.

— А откуда же у вас тут эта статуя, о. Милий?

— Не могу знать. Давнее дело. Это, более ста лет. Говорят, волнами ладожскими прибило, монахи нашли, еще во-о когда, при царе Александре Первом.

Он закрыл опять иконою статую в нише, стал показывать изображения на стенах чудес Святителя.

— Патриарх был Афанасий... понятное дело, хоть и патриарх, а что ж тут поделаешь, тоже не без греха. Скуповат, значит. Николай-то, Угодник-то, его предупреждает: ты мол, не скупись, нехорошо! А тот без внимания. И молебнов не служит, одно слово — нерадение. Ладно, вот поехал... ну, там зачем-то по службе, что ли, по морю, глядь, буря. Тонуть стал. Ах ты, Господи! — тут и вспомнил: это мне за грехи. Сейчас и взялся Николаю Угоднику молиться. Совсем уж утопает, а ничего, молится. Ну, Угодник видит, что ж, ведь христианская душа, да и в прегрешениях кается... и там все же таки патриарх, как будто уж оно тово... он милостивый ведь о-очень был! Какой милостивый! Ну, видишь, и показано здесь, как он его от утопления спасает. Очень даже был добрый. А другой раз вышло такое дело, — он показал на соседнюю фреску, — ехали муж с женой, в Киеве, по Днепру в лодке, и младенчик у них на руках. Да что-то разговорились, зазевались, младенчик-то и упал в воду... И так ловко упал, его сейчас завертело, понесло, туды-сюды, ищут — где там! утоп. Родители расстроились страсть как, чуть не плачут. Ну и подумать, собственное дите в пучину бездонную уронили. И ночь-то, можно сказать, одним глазом спали. Где уж тут спать? О. Милий очень выразительно на нас взглянул оживившимися, сочувственными глазками: переживал горе родителей.

— Ну, и что же вы думаете, утром пришел в церкву пономарь, убирает, к служению готовится — видит, под иконою Угодника младенчик... Этот самый и оказался, его Николай-то Чудотворец и принес, над горем над родительским смилостивился.

О. Милий глядел почти победоносно, так он весь до последнего сустава своего был восхищен добротой и милосердием Святителя.

— А вот тут, видишь, — он указал на другую фреску, — нарисовано-то мало, а чудо было совсем порядочное. Значит, жил это один богатейший человек, и у него три дочери — красавицы прямо на весь город. Девушки нежные, как обыкновенно богатые бывают. Ну, и вдруг отец-то и разорился... я уж там не знаю почему, но только в нищету такую впал, просто не дай Бог. Ну, прямо, есть нечего...

На лице о. Милия изобразилось полное беспокойство за судьбу знатного человека из Патары, потерпевшего крах.

— Думает-думает, что тут поделаешь: приходится дочерьми торговать... и совсем уж было собрался отдавать их в блудилище... Ну, а тут Николай-то, Чудотворец-то, сейчас и явился. Да как? Тайно! Видишь, в окошко дому ихнего кошелек с золотом бросает? Господь, мол, денежки послал. Отец это обрадовался, и не то что на позор, а девицу честным образом замуж выдал. Видит Николай Чудотворец, что отец себя прилично держит, и еще помог. Да что вы думаете? — всех троих дочерей пристроил!

* * *

Когда мы выходили из церкви, о. Милий был уже совсем в хорошем настроении. Мы тоже. Он действительно на славу показал свой храм, и простецким своим рассказом как бы стер столетия и легенду: мы, действительно, почти оказались знакомы и с патриархом Афанасием, и с рассеянными родителями, и с разорившимся гражданином города Патары.

Мы уселись на гранитном парапете церкви — отсюда чудесный вид на пролив, леса за ним и дальнюю Ладогу. Солнце слегка выступило, бледно, и робко: посребрилась вода, справа из-за оконечности острова выплыл большой мотор с паломниками. Бело-голубой финский флаг веял на корме. Нам махали платочками.

О. Милий должен был идти встречать их — ему не особенно хотелось... все-таки пошел, мы остались одни. Спустились тропинкою пониже, почти к самому озеру, и сидели здесь в тишине, пригреваемые скудным светом, но живым и чистым. Даже хорошо так посидеть одним, на островке в природе...

А потом мимо храма Святителя, вновь пошли к пристани. Мотора уже не было. О. Милий шел нам навстречу. Он опять не совсем был доволен.

— Ту-ристы! Все не по-русскому говорят. Им чего тут делать? Подъехали, посмотрели, дескать, остров как остров — и дале... некогда, вишь.

Направо, недалеко от берега, гранитный крест, какая-то избушка. Совсем над водой, из голого камня наклонно растет столетняя сосна — совершенный зонтик.

— Прежде таможня монастырская была, — сказал о. Милий. — Как из Сердоболя пароход с гостями, так сюда и заходил. У кого табачок там, папиросы, то пожалуйста... в монастырь ввозить не позволялось. А на обратном пути отдавали. Если уж только кто скрыл, и нашли у него, тот табак прямо в воду. Вот как было...

О. Милий засмеялся. Монастырь, мол, так монастырь. Нечего с монахами шутить.

Он показал нам большой двухэтажный дом — в пору помещицкому — теперь один он живет тут внизу, в маленькой комнатухе. В верхнем этаже церковка, но все это безмолвное, запущенное.

Около дома столик, скамейка.

— Подь-ка сюда, подь, — сказал о. Милий моей жене. — Посиди. Сейчас ягодок принесу.

И, действительно, принес. Это была валаамская клубника, некрупная, ничего особенного с виду, но такой сладости и благоухания, что ей лежать бы не на убогой тарелочке о. Милия, а на роскошном блюде. Впрочем, может быть, плод святой земли и хорош именно в святой бедности своей...

Жена все расспрашивала о. Милия о «страхованиях». Но он вряд ли мистик, и особым страхованиям не подлежит. Молится Богу и занимается домашним хозяйством — огородик, яблони. «Полумирончик», такой сорт есть у него, но, к огорчению, когда поспевают, то по ночам на лодке приедут карелы и отрясут. Бесами он их не считает, но что же с ними поделывать одиноко-му старику на островке? Если ночью услышит что, прочтет молитву Николаю Угоднику, перевернется на другой бок, да и заснет.

Мы простились с ним очень дружески, и на своей лодке он отвез нас обратно. Как и столько других, мы мелькнули в его однообразной жизни мгновением, а там опять полумирончики, чудеса Святителя, клубника, черные дикие утки на озере. Но для нас этот простой старичок как-то связан со своим скитом, с удивительным островком, тишиной и поэзией его — остался в памяти: верный слуга Святителя. Не будет дерзостью подумать, что такой Угоднику угоден.

Прощание с Валаамом

...Ездили на Святой остров. Это в нескольких верстах от монастыря, на Ладоге. Еще в Келло-мяках, у друзей, один знакомый, бывавший на Валааме, сказал, что Святой остров прекрасен и напоминает беклиновский Остров мертвых. Когда в безоблачный день, по сине-зеленому стеклу Ладоги, наш мотор подходил к нему, вспомнилось это замечание. Кипарисов здесь, разумеется, нет. Но так отвесны, дики скалы, обрывающиеся прямо в воду... Над ними сосны. Одиноко-поэтически воздымается весь островок, есть, правда, в нем что-то таинственное.

От пристани подымаешься довольно круто и выходишь на тропинку — она опоясывает остров и поражает своей гладкостью, тщательностью отделки. Это работа безвестного инока, давних времен — камешек к камешку, точно мозаика. Дорожка идет то над отвесными скалами, то склон более покатый. Вокруг сосны, аромат. В удивительный день нашего посещения сквозь эти сосны Ладога голубела зеркально, почти нежно, вдали мягкие синеющие холмы, настолько светел пейзаж, что не верилось, что мы так далеко на севере.

Дорожка приводит к пещере — по преданию, св. Александр Свирский в XV веке провел на острове несколько лет и молился в ней.

А еще выше, рядом со скитскою церковью, показывают и его могилу, собственноручно выкопанную.

«Святой остров»... — да, уж тут, кроме тишины, красоты, легкого гула сосен, да теней героических, ничего не найдешь.

Сейчас здесь живет при церкви всего один монах, и на островке еще семья карелов, занимающихся скромным хозяйством. Но вот, чуть ли не ежедневно привозит и увозит мотор сюда паломников из монастыря, и все что-то уносят: каплю света? Благословения? Не знаю, как сказать. Но для меня очевидно: как же были наполнены и значительны жизни уединенные, протекавшие здесь, раз и сейчас они волнуют.

Жена тоже была восхищена. Она взяла с собой в платочке, недалеко от пещеры св. Алексан-дра, собранную щепотку земли: святоостровской. И несколько сосновых шишек.

* * *

На другой день присутствовали мы на пострижении в схиму бывшего игумена Валаамского монастыря о. Павлина. (Монахам часто дают особенные имена, не встречающиеся в миру: они тоже надевают нечто на человека, отделяют его тончайшей и прозрачной, но все-таки завесой — Иувиан, Элий, Милий...)

Собор был полон. Со всех островков, скитов, изо всех углов монастыря собрались старички-схимники в остроконечных куколях, черных мантиях, все это расшито белыми крестами, выведены тексты Св. Писания, изображены кости и черепа.

Два схимника под руки влекли о. Павлина через всю церковь. Он в нижнем белье, сверху наки-нута мантия, волосы распущены — в сущности, он должен ползти на коленях: знак последнего смирения и покаяния. Игумен, о. Харитон, к которому его подводят, читает ему ряд вопросов. Я не помню их в точности, но дело идет об отречении от мира, бедности, и т. п. За постригаемого отвечал его как бы крестный отец, тоже схимник о. Ефрем, церковно-славянской, прекрасной фразой:

— Ей, Богу содействующу! (Да, с Божией помощью).

Весь чин древен, полон поэзии. Игумен трижды отдавал о. Павлину ножницы, которыми надо постригать, подчеркивая, что тот может их не вернуть, если раздумал постригаться. И лишь после третьего возвращения ножниц он отделил ими прядь волос с головы о. Павлина. А затем надел ему «шлем победы», это и будет схимнический куколь, знак возведения в высшую духовную степень: схиму.

Игумен сказал новому схимнику небольшое, но замечательное слово — быть может, предназначено оно и для нас, слушавших. Вот место, особенно запомнившееся (передаю по памяти): «Может показаться странным, что старец, проживший уже долгую монашескую жизнь, всеми уважаемый, управлявший монастырем, в облике последнего кающегося грешника проходит через весь храм. Но это только кажется так. Ибо путь духовной жизни в том и состоит, что чем выше человек поднялся в развитии своем внутреннем, тем он кажется себе греховней и ничтожнее, — тем меньше сам в своих глазах рядом с миром Царствия Божия, открывающегося ему. Он лучше нас видит тот мир, в его свете легче различает свои

слабости и несовершенства. Так в темной комнате не видно пыли, в освещенной отраженным светом многое уже видно, а если в нее попадает сноп солнечных лучей, то и сам воздух оказывается полон пылинок».

О. Харитон говорил тихо, покойно, даже суховато, без всяких ораторских приемов... — но и слово его, и вся вообще служба воспринимались с волнением. Особенно взволнованными показались мне сами монахи. У многих глаза были полны слез. Я никак не думал, что увижу на «суровом» Валааме такое «сопереживание».

Иногда приходится слышать, что в постриге есть нечто страшное: человек, мол, заживо ложится в гроб. Так думают люди, далекие от церкви и религии — по-своему даже «жалуют» принимающих монашество (или принимающих высшую его форму). Они были бы очень удивлены, если бы узнали, что многие монахи считают счастливейшим временем своей жизни дни, проведенные в одиночестве и молитве после пострига. (Может быть, это минуты их наибольшего приближения к Богу: как бы обручения Ему.)

А те слезы, которые мы видели на многих лицах при пострижении о. Павлина в схиму, были слезами умиления, а не горести. Это видно было и без всяких слов, но потом мне монахи подтвердили: «вспоминались и в своей жизни эти торжественные, святые минуты».

Мы с женой не плакали, но тоже остался в душе след.

* * *

В последний перед отъездом день, под вечер, мы ушли в валаамские леса, вдаль — одно из любимейших моих занятий здесь.

— Вы часовню Константина и Елены знаете? — говорил нам гостиник, иеромонах о. Лука. — Ну, так, по этой дороге, мимо часовни все прямо, прямо, а там в лесу будет обгорелое дерево, у того дерева возьмите направо, дорожкой... и до самого озерка. Вблизи воды тропочка, чуть намята, уж поищите, потрудитесь — на скалы, и там, конечно, водружен огромнейший крест. Место дикое, но весьма привлекательное. Красота!

Мы так и отправились, по совету о. Луки. Часовню Константина и Елены, к которой с дороги ведет аллея елок, хорошо знали. Знали и большую поляну вокруг — там посеvy, монастырский покос. Но вот дальше, войдя в лес, очутились уже в стране неведомой. Неведомая, да родная! Ведь это все мое, в моей крови, я вырос в таких именно лесах, с детства все знаю: горький аромат хвои, песчаные колеи, комариков, вьющихся за тобой, слегка отстающих, пока идешь и неизменно свое напевающих, и белку, метнувшую рыжим хвостом, проскакавшего зайца. В общем, ведь все это радость, Божья благодать. И как будто бы в знак того, что именно Божья, версты через две пути по совсем безмолвному лесу при дороге часовенка, маленькая и скромная, взойдешь на крыльцо, дверь отворишь: тишина! Пахнет сухим, чистым деревом, да иконным лаком, чуть-чуть ладаном. Перекрестишься, к иконам приложишься, и как-то чувствуешь, действительно: это добрые силы, святые покровители мест этих, да и тебя самого. Какой бы там ни был, а сюда с благоговением забрел. Посидишь, тропарь прочтешь, да Господи благослови и дальше. С таким, наверно, чувством, бабы моего детства шли к Троице-Сергию, с котомками за плечами, длинными палками, в лаптях... — все это кажется теперь пережитком, из другого века, и лаптей,

пожалуй, маловато осталось, но если и смиренности, благоговейности тоже нет, то тем хуже.

Так что, наподобие баб великорусских, мы и двинулись дальше, со взгорка в ложбинку, меж елей, сосен, берез.

Обгорелое дерево сразу заметили и свернули направо. Тут пошли путаные места, кое-где вырубки, саженьки дров, цветы розовые Иван-чая, одинокие сосны над кустарником — только за тетеревами охотиться. Долго ли, мало ли, вышли и к «озерку» — усердно искали здесь тропинку. И недаром слонялся я в детстве с ружьем по калужским, жиздринским лесам — крохотного следка и тут не прозевал. Мы полезли наверх, по мхам, хвое, по выступам гранита. Лезли не так долго, но трудно, иной раз едва и вскарабкивались. Награда же оказалась хорошая: добрались до темени скал, круто вниз обрывававшихся прямо в озерцо. И над всем этим господствовал Крест, огромный, потемневшего дерева, обращенный на Ладогу.

Мы сели у его подножия. Под отвесным обрывом — сказочное озерцо. И даже сказочная избушка есть на его берегу, заброшенная, с отворенною дверью. Пустынно тут. Вот уж, действительно, забытый угол...

Позже мы спустились со скалы, обошли все озерцо, выбрались к берегу Ладоги — она уже в двух шагах отсюда. И все то же ощущение пустыни, тишины. Ни белочки, ни птички, все заснуло. Немного даже жутко.

...Когда шли назад, уже смеркалось. У обгорелого дерева началась вновь настоящая дорога. Вдали густо, полно ударил валаамский колокол. Пора домой!

И в обратном направлении потянулись те же леса, поляна, монастырские покосы и хлеба.

— Ну, вот, — сказал я жене, — это наш прощальный выход. Доведется ли еще когда увидеть Валаам?

Жена вздохнула.

— Да, если бы еще увидеть...

По небу громоздились бело-синие облака, крупными, тяжелыми клубами. В некоторых частях они были почти грозны — не сверкнет ли оттуда молния? В других белые их пелены свивались таинственно. Отсвет их на крестцах овса, на еловом лесу был не без мрачного величия. Все это, конечно, необычайно русское. И как-то связано с нами, с нашими судьбами. Увидишь ли еще все это на родной земле, или в последний раз, перед последним путешествием, дано взглянуть на облик Родины со стороны, из уголка чужого...

Этого мы не знаем. Но за все должны быть благодарны.